

© *Ляшенко К.Н.*

соціальні значення є цивілізаційними скріпами культурної спільноти, стабілізуючими підпорами накопиченого соціокультурного досвіду. Вони виступають центрами пізнавальних і практичних відносин, згустками потенційної соціальної енергії.

Інтерсуб'єктивні значення культурної спільноти утворюють схему повсякденних інтерпретацій, прийнятих як незаперечна даність засобів соціальної орієнтації людини. Навіть соціальні значення, що є результатом седиментації негативного соціального досвіду (негативної евристики), ми назвемо негативними соціальними значеннями. Вони не є «чорними дірами» системи інтерсуб'єктивності соціальних значень, але здатні відігравати мобілізаційну роль в позитивній соціальній динаміці.

Найбільш фундаментальні об'єктивні соціальні значення виступають як цінності. Феноменологічна цінність виступає як «привласнення», інтеріоризація і емоційно-чуттєве переживання об'єктивних соціальних значень. У свідомості окремого індивіда цінність є результатом «духовної приватизації» об'єктивних соціальних значень певного культурного співтовариства. Людина входить в певне соціокультурне співтовариство, коли формуючу його систему об'єктивних соціальних значень переживає як цінність.

В якості **висновку** зазначимо, що розвинений в рамках соціальної феноменології комунікативно-смысловий підхід до аналізу соціальної реальності є особливо актуальним в умовах усвідомлення соціокультурної обмеженості класичної парадигми соціальності.

### СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Крымец Л. В. Социальное взаимодействие в контексте постиндустриального общества на современном этапе развития: монография / Людмила Владимировна Крымец. – Saarbrücken, Germany: Lap Lambert Academic Publishing, – 2012. – 163с.
2. Осіпов А. О. Онтологія духовності [текст] / Анатолій Олександрович Осіпов. – Миколаїв: МАГУ ім. П.Могили, 2008. – 472 с.
3. Смирнова Н. М. Социальная феноменология в изучении современного общества / Н. М. Смирнова. — М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2009. — 400 с.
4. Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом / А. Шюц [Составление тома, пер с англ. и общая редакция Н.М. Смирновой]. М.: РОССПЭН, 2004. С. 533-549.

*Ляшенко К.Н., аспирант кафедры культурологии философского факультета Одесского национального Университета им. И.И. Мечникова.*

**УДК: 141.32+123.2:177.8**

### «ФІЛОСОФСЬКЕ ПІДПІЛЛЯ» ЛЬВА ШЕСТОВА

*Розглядається проблема людської автентичності у контексті критики Льва Шестова «Записок із підпілля» Ф.М. Достоевського. Через проблему взаємовідношення людини і світу простежується еволюція філософської думки Шестова - від «підпільної людини» до Іова, від абсурду необхідності до абсурду божественності.*

**Ключеві слова:** автентичність, абсурдна Необхідність, абсурдний Бог.

### «ФИЛОСОФСКОЕ ПОДПОЛЬЕ» ЛЬВА ШЕСТОВА

*Рассматривается проблема человеческой аутентичности в контексте критики Льва Шестова «Записок из подполья» Ф.М. Достоевского. Через проблему взаимоотношения человека и мира прослеживается эволюция философской мысли Шестова – от «подпольного человека» до Иова, от абсурда необходимости до абсурда божественности.*

**Ключевые слова:** аутентичность, абсурдная Необходимость, абсурдный Бог.

**"PHILOSOPHICAL UNDERGROUND" LEV SHESTOV**

*The problem of human authenticity is considered in the context of Lev Shestov criticism of the "Notes from the Underground" of F. Dostoevsky. The evolution of philosophical thought of Shestov: from the "underground man" to Job, from absurdity of necessity to absurdity of divinity, is considered through interrelations of man and world.*

**Key words:** *authenticity, absurd Necessity, absurd God.*

«Иисус сказал: Тот, кто познал мир, нашел труп,  
и тот, кто нашел труп – мир недостоин его».

«Иисус сказал: Небеса, как и земля, свернутся перед вами, и тот,  
кто живой от живого, не увидит смерти. Ибо Иисус сказал:

Тот, кто нашел самого себя, - мир не достоин его».

Евангелие от Фомы

Кто-то из великих сказал, что самая страшная форма самообмана – это существенно не отличаться от того, кого ненавидишь. Человеконенавистничество, в таком случае, является, наверное, единственной парадоксальной ненавистью, непреодолимым самообманом, от которого можно лишь отказаться. В некоторой степени этим можно объяснить то, что в истории философии возникали такие странные и в то же время такие понятные мечты о «сверхчеловеке», мизантропия которого не заключала бы в себе этого постыдного противоречия, нелепого порочного круга. «Что такое обезьяна в отношении человека? Посмешище или мучительный позор. И тем же самым должен быть человек для сверхчеловека: посмешищем или мучительным позором» [1; 8]. – Так говорил Заратустра, так говорил Ницше.

Однако является ли таким уж неоправданным это противоречивое отношение человека к человеку, мизантропия? Ошибка ли человек-мизантроп? В конце концов, всякое ли «животное, имеющее мягкую мочку уха» обладает неоспоримым правом называться этим «великолепным и гордо звучащим словом»?

Данная статья посвящена основаниям вопроса о человеческой аутентичности в экзистенциальной философии Льва Шестова. Через «шестовизованные» «Записки из подполья» Ф.М. Достоевского мы попытаемся проследить движение мысли русского философа от «подпольного человека» к его религиозному прототипу – ветхозаветному Иову. Несмотря на то, что значению «Записок из подполья» в философии Шестова уделялось достаточно внимания (в частности, в таких работах, как «Миры свободы и чудес Льва Шестова: Жизнь мыслителя, «странствования по душам», философия» В.Л. Курабцева, «Три круга Достоевского: Событийное, социальное, философское» Ю.Г. Кудрявцева, «Идеи и образы Ф.М. Достоевского» М. Гуса, «Ф.М. Достоевский и русские писатели XX века» В.А. Туниманова, «Достоевский и экзистенциализм» А.Н. Латыниной и др.), мы рассматриваем данную проблему, акцентируя свое внимание на понимании Шестовым отношения между человеческой подлинностью и миром Необходимости.

Писатель и литературный критик Виктор Шкловский утверждал, что литераторов объявляют классиками тогда, когда их сочинения теряют идеологическую актуальность, т.е. становятся безопасными для спокойного и уверенного существования представителей современного общества, и их можно без каких-либо опасений передавать молодому поколению. Этот процесс зачисления в классическую литературу, что, по сути, является процессом редукции к общепринятым интерпретациям, не проходит без участия массы комментаторов и интерпретаторов, довлеющее большинство которых участвует в медленном, но верном выветривании «ядовитых паров» из потенциально опасного творческого наследия того или иного литератора, мыслителя, философа. «Народное достояние» должно иметь грубые черты лица, узнаваемые неискушенным читателем, тем самым не беспокоя его лишними и вредоносными вопросами, угрожающими потерей сна, аппетита и гражданских позиций.

Похожего взгляда придерживался и Лев Шестов, считавший, что писателям, опасаящимся «топора гильотины общественного мнения» [2; 365], порой приходится прибегать к хитрости – чтобы сказать «последние», неприятные для обыденного слуха слова, нужно периодически усыплять бдительность «цензоров», прикрывая крамольные мысли антуражем порядочности и благонадежности. Хотя самого Шестова, по всей видимости, мало тревожил «топор гильотины» – если верить Герману Ловцкому, в начале XX века молодые люди шантажировали своих родителей

чтением работ Шестова, которое почему-то ставилось в один ряд с развратом. Иное дело обстоит с Федором Михайловичем Достоевским, ставшим достоянием народов, и достоянием молодых, неокрепших умов в частности.

Большинством исследователей творчества Достоевского «Записки из подполья» признаются переходным произведением, произведением-перерождением, выступившим для писателя отправной точкой его новых духовных исканий. В философии Льва Исааковича «Записки из подполья» занимают менее скромное место, они признаются вершиной всего творческого пути Достоевского, вершиной, затмевающей своей «тенью переоценки» предыдущие и «тенью влияния» последующие произведения русского гения. Переломный момент в художественном творчестве Федора Михайловича Шестов неразрывно связывает с переломным моментом в самой жизни русского писателя, повлекшим за собой муки очищения от усмиряющих иллюзий обыденного существования.

Инсценированная казнь, по словам Шестова, наградила молодого писателя опытом исключительной ценности, открыв ему «второе зрение», в свете которого ни человек, ни мир уже никогда не станут прежним воплощением утешительной разумности. Каторга оказалась естественным продолжением эшафота, мрачным путешествием к «подполью». Все это подтолкнуло социально-ориентированного писателя преодолеть абсолютизацию морали и гуманистическую обеспокоенность построением лучшего общества, тем самым как бы расширив и углубив его понимание человеческой природы, открыв ему личностную Трагедию человека, и, что самое главное, собственное трагическое существование.

««Записки из подполья», это – раздирающий душу вопль ужаса, вырвавшийся у человека, внезапно убедившегося, что он всю свою жизнь *лгал*, притворялся, когда уверял себя и других, что высшая цель существования, это – служение последнему человеку. До сих пор он считал себя отмеченным судьбой, предназначенным для великого дела. Теперь же он внезапно почувствовал, что он ничуть не лучше, чем другие люди, что ему так же мало дела до всяких идей, как и самому обыкновенному смертному» [3; 170].

Таким образом, социальные основания трагедии героев в творчестве Достоевского – низшие, незащищенные слои общества, бедность, голод, презрение и жестокость окружающих, вынужденная обособленность и преступное поведение, социальное одиночество – теряют самостоятельную ценность. От «маленького человека» с точки зрения общества Достоевский приходит к «маленькому человеку» с точки зрения Вселенной, от «униженных и оскорбленных» социальными порядками – к «униженным и оскорбленным» миропорядком, от покорностей Макара Деушкина – к дерзновениям «подпольного парадоксалиста», от инертного всепрощения – к богоборческому возмущению, от любви к ближнему – к любви к дальнему, от доброты и справедливости – к откровенным патологиям и пр.

Тем не менее, социальное неблагополучие и уязвимость ранних героев Достоевского передается его поздним персонажам (вспомните непроходимую бедность и мрачную комнату, напоминающую гроб, Родиона Раскольникова или дрянной, скверный угол на краю Петербурга «человека из подполья»). Однако социальная неустроенность уже «слишком сознающих» [4; 101] героев Достоевского, приобретая философскую глубину, становится символом «экзистенциальной бездомности», т.е. символом перманентной конфронтации между «возмущенной» личностью, «возвращающей билет», и «возмутительным» миром.

В «Записках из подполья» Федора Михайловича, оставившими неизгладимый след на образе мысли и личности Льва Исааковича, имплицитно содержится бунтарское неприятие действительности, своеобразная «кляуза» на мир (или выражаясь языком «дежурного скептика упадочного мира», Эмиля Чорана – «злословие над миром»). Жизнь теряет свою притягательную очевидность, несомненную ценность. То, что раньше представлялось человеку должным и необходимым – приобретает черты нелепого принуждения и абсурдного недоразумения, а то, что было родным и обыденным – становится чуждым и невыносимым. Некогда понятный и удобный мир неожиданно предстает пред взором в желто-мутной пленке Абсурда. К слову, можно вспомнить заветные слова Федора Михайловича о том, что «красота – спасет мир», однако, как бы продолжая мысль писателя, мы понимаем – до тех пор, пока это не произойдет, человеку придется мириться с его безобразием.

«Измена будет жестокой и неожиданной. Мать с ужасом увидит, как сквозь щеки ребенка прорастают новые глаза; у скромного обывателя язык превратится в живую сороконожку, шевелящуюся лапками, или иное: однажды поутру он проснется и обнаружит себя не в теплой уютной кровати, а на голубоватой почве чудовищного леса с фаллообразными деревьями,

устремленными в небеса, и т.д. В результате различных мутаций люди будут выбиты из привычных гнезд и, обезумевшие, станут кончать с собой целыми сотнями» [5; 285-286]. «Философия беспочвенности» Шестова гласит: для человека лишь единожды утратившего под ногами «почву», мир никогда не станет прежним воплощением уюта и безопасности, обретенным без мук поиска «Иерусалимом».

В одной из своих работ Шестов, в очередной раз протестуя против «беспорных истин разума», говорит об исключительной противоестественности природы смерти. «Величайший обман (его не избег даже божественный Платон), что все, что имеет начало, имеет и конец, должно иметь конец и что смерть есть, стало быть, естественное явление в ряду прочих естественных явлений. Конечно, многое, что имеет начало, имеет конец. Но не все. Смерть же, которую разум «понимает» как необходимое следствие из установленных им принципов, на самом деле есть самое непонятное, самое «неестественное» из всего, что мы наблюдаем в мире» [6; 358].

Однако не сообщает ли человеку разум и о другой «естественности», в рамках которой смерть, «самое неестественное из всего, что мы наблюдаем в мире», выступает всего лишь одним из явлений? Речь идет о самом мире, действительности, бытии, т.е. – о том самоочевидном начале, из которого, по словам Шестова, разум выводит «естественный конец».

Нет ничего удивительного в «разумном примирении» философа со смертью (хотя Шестов и спорит преимущественно с философами, ревнителями разума и разумной действительности). Другое дело обстоит с людьми далекими от философии, для которых вопроса о «конце» просто не существует, так как не существует вопроса о «начале». В данном контексте примечательно недоумение, местами граничащее с желчным возмущением, главного героя романа Эжена Ионеско «Наедине с одиночеством», во многом отчетливо напоминающего своего «старшего брата» – «подпольного человека».

«Быть неспособным постичь Вселенную – с этим невозможно смириться. <...> А все эти люди как ни в чем не бывало идут по улице, бегут к автобусу... Как они могут? Если бы они начали размышлять над тем, что мучит меня, если бы попытались представлять себе это непредставимое, то застыли бы на месте. <...> Люди пренебрегают непостижимым или забывают о нем; однако ведь они думают, они основывают свои умозаключения на этом непостижимом, вот что для меня – непостижимо. <...> Это любопытно: они верят, что мир, Вселенная, сотворение есть нечто совершенно естественное, некая данность» [7; 51-53].

Именно в отношении к пресловутой «стене» заключается причина возникновения «подпольного человека», выпадающего из чуждого лона раблепного «всемства». Не желая мириться с собственным бессилием перед действительностью, подпольный человек занимает оборонительную позицию отщепенца и мизантропа по отношению ко всякому кто «пасует перед стеной» и искренне довольствуется нерушимостью «закона» – тем самым совершая переход от «подполья обыденности» к «подполью трагедии». На этом отношении человека к действительности Шестов осуществляет свое незатейливое (по мнению Бердяева) деление людей на два вида «племен» [8; 165] – на тех, кто примиряется с «самоочевидным», принимая свое обыденное существование за единственную реальность и тех, кто способен к абсурдному дерзновению, т.е. к возмущению тем, чем возмущаться – с точки зрения разума – бессмысленно.

«И еще более «неестественно», что люди могли поверить в истины разума, возлюбить «общее», «законы» и возненавидеть свое Я, что они могли так заинтересоваться и «нематериальными» истинами, что совсем забыли о своих судьбах» [6; 358-359], – писал Шестов, которому самому приходилось не только приспособливаться к ненавистному миропорядку, но и уживаться с теми, кто ревностно охраняет «самоочевидности» (Бенджамен Фондан, ученик Шестова, писал об «абсолютном и терзающем» одиночестве своего учителя).

Чем откровеннее становятся признания Шестова в любви к «подпольному человеку», тем отчетливее вырисовывается его ненависть к человеку отличному от героя «Записок из подполья». В философии Шестова «подпольный парадоксалист» обретает черты эталона человеческой аутентичности. Аналогичное положение занимает Дон Кихот в философской эссеистике испанского писателя и философа Мигеля де Унамуно. «Тот, кто в трагическом столкновении с феноменальной реальностью и вопреки всем доводам разума сражается за идеал, тот, кто верит и действует соответственно своей вере, обладает жизнью и реальностью, тогда как новоявленный «средний человек», «социальный атом» современной цивилизации, «человек массы», как назовет его Ортега-и-Гассет, «это обыденное существо, это подобие человека, которое бежит всего трагического», не является ни живым, ни реальным человеком. Таким образом Дон Кихот не только реален, но и

показывает нам, что значит быть живым и реальным человеком». [9; 14-15].

Таким образом, неприятие чужой и неестественной действительности приводит к неприятию тех, кто эту действительность воспринимает как то, что в принципе не поддается сомнению, что, в свою очередь, приводит или к самоизоляции, или к неминуемому конфликту. Замечательной иллюстрацией столкновения «всемства» с «возмущенной личностью», заканчивающееся для последней неизбежной катастрофой, является рассказ Ж.-П. Сартра «Герострат», главный герой которого, Поль Ильбер, наряду с героем Ионеско, также оказывается своеобразным эпигоном «человека из подполья».

Что Сартр сообщает нам о жертве своего герострата? Лишь о складке на красном затылке, между котелком и воротником вполне обычного прохожего. Писатель, который сводит случайную жертву «психопата» к «затылку», явственно дает понять читателю, что ни один «человек» тогда на улице Одессы не пострадал. Торжество бесчеловечности продолжается праведным гневом визжащей и гикающей толпы безликих преследователей, загоняющих «чужака» в уборную какого-то кафе. Подобно древнему греку с фонарем в руке, Ильбер терпит неудачу, но вместо фонаря в его руках оказывается револьвер. Тогда становится совершенно ясно, что вероятность убийства Полем Ильбером «человека» равносильна вероятности убийства им своего создателя, самого Сартра. Таким образом, абсурд в данной новелле о дефиците человечности выражается не в беспочвенной мании убийства у главного героя, а в его жажде расстреливать из «внушающей отвращение вещи» именно людей, которых он так и не обнаруживает.

Более того, в данной новелле Ильбер оказывается единственным несомненным представителем человеческого рода, что и является главной причиной его ненависти и отвращения к тем, кого он называл «людьми». Слова, которыми завершается рассказ: «Я отбросил револьвер и открыл дверь» [10; 83], переносят читателя к началу повествования, тем самым замыкая смысловой круг этого небольшого произведения: «Я знал, что они мне враги, но они этого не знали. Они любили друг друга, сплывались друг с другом. Порой, принимая за своего, лезли со своими услугами и ко мне. Но доведись им узнать хоть малую долю правды, они избили бы меня. Впрочем, они сделают это позже, когда, узнав, *кто* я есть, наконец-то до меня доберутся: два часа они будут топтаться по мне, там, в комиссариате; нададут мне пощечин, будут бить кулаками, выкручивать руки, порвут брюки, и затем, под конец, пока я буду ползать на четвереньках в поисках пенсне, они, смеясь, будут осыпать меня пинками» [10; 66]. «Всемство» торжествует. Ильбер, как эпигон «подпольного человека», желая избежать «общепринятых истин» чуждой ему действительности, но, не имея выхода из абсурдного мира обыденности, в конечном счете расплачивается за свой протест, вынуждаемый «примириться» [11; 49].

Именно поэтому «подпольная мысль» Шестова неизбежно упирается в Бога. «Чем сильнее ненавидишь людей, тем более ты созрел для Бога, для диалога в одиночестве» [12; 60]. От абсурдной Необходимости Шестов ищет защиты у абсурдного Бога. От нигилистической беспочвенности «подпольного человека» он неизбежно приходит к религиозной беспочвенности ветхозаветного Иова.

В этот период развития философии Льва Исааковича идея грехопадения становится неким «метафизическим центром». Под грехопадением понимается ситуация, когда человек миру Свободы предпочел мир Необходимости, древу Жизни – древо Познания. Свобода превращается в Необходимость, а человек, схваченный этой Необходимостью, начинает страшиться Свободы. И чем сильнее человек отчуждается от Свободы, тем глубже укореняется в Необходимости, защищая и оправдывая ее посредством уподобляющихся ей «истин» разума.

Николай Бердяев неприязненно отнесся к «Богу» Шестова, увидев в нем примитивную и лишнюю веры философскую конструкцию. Для Бога Шестова – нет ничего невозможного. Бог – это Абсурд, т.е. полная противоположность «разумной» Необходимости. Таким образом, Бог находится вне разума, вне добра и зла, вне законов природы. Это, по сути, главная «теологическая» мысль «позднего» Шестова. «Читая Л. Шестова, – пишет Бердяев, – остается впечатление, что вера невозможна и что ее ни у кого не было, за исключением одного Авраама, который занес нож над своим любимым сыном Исааком. Л. Шестов не верит, что есть вера у так называемых «верующих». Ее нет даже у великих святых. <...> Для Л. Шестова вера есть конец человеческой трагедии, конец борьбы, конец страданиям, наступление неограниченных возможностей и райской жизни» [13; С.592-593]. В свою очередь современный русско-американский эссеист Борис Парамонов, якобы продолжая мысль Бердяева, сводит религиозно-философские поиски Шестова к мечтаниям о «комфортной жизни», совершая, на наш взгляд, грубейшую ошибку. Более того, доводя мысль Бердяева о Шестове до абсурда, он якобы становится на сторону последнего, критикуя Николая Александровича за

чрезмерную требовательность к человеку и недооценку «материального благополучия» в его жизни, указывая тем самым на необратимое обесценивание экзистенциальной философии в современном мире.

Мысль Шестова направлена не на возвращение в до-трагическое состояние, т.е. состояние до «встречи» с Необходимостью, а на восстание против мира, преодоление Необходимости. Вера во всемогущего Бога, способного «сделать бывшее не бывшим» – это вера человека, возмущенного миропорядком. Главное здесь – исключительно, глубоко личностная, никому несообщаемая, в корне абсурдная, подобная безумию вера человека. В таком ключе понимания веры проглядывается гипертрофированный антропоцентризм Шестова (вопреки мнению Зеньковского, писавшего об исключительной теоцентричности философии Льва Исааковича). Именно в абсурдном акте веры человека в абсурдно всемогущего Бога, для которого нет ничего невозможного, проглядывается человеческая сила – «сметь вопреки». «Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить» [4; 174].

Именно человек, верующий в сокрушение несокрушимого, противопоставляется и противостоит миру Необходимости (поэтому несправедлив был Бердяев, когда говорил о пассивности субъекта в философии Шестова). Веру Шестова в определенном смысле можно назвать капризом, абсурдным капризом абсурдного человека. «Абсурдный человек исчерпывает все и исчерпывается сам; абсурд есть предельное напряжение, поддерживаемое всеми его силами в полном одиночестве» [14; 54].

Однако нельзя утверждать, что Шестова интересует абсолютное преодоление Необходимости. Возврат к Единому, слияние с Богом и т.п. в контексте философии Шестова не играет особого значения. Важна сама утрата, надлом, надрыв, т.е. важна Трагедия, культивирующая в человеке абсурдную веру. Важна сама вера, а не ее результат. В случае с ветхозаветным Иовом, Шестов делает акцент на его безумных стенаниях, смущающих своей абсурдностью безликую толпу, а не на возврат утраченного покоя. Именно поэтому Бердяев писал, что «книги его скорее оставляют впечатление, что последнее слово принадлежит разуму, общеобязательным истинам, морали, необходимости, невозможности освобождения от мучений для Ницше и Киркегора» [13; С.592]. Что, в свою очередь, привело Виктора Ерофеева к неутешительному итогу: «Шестов настаивает на неискоренимом трагизме человеческого существования, адекватной формой которого становится битье головой об стену» [15; С.144].

Вопрос о человеческой аутентичности в контексте экзистенциальной философии Льва Шестова необходимо связан с вопросом об отношении человека и мира. Исходя из этого вопроса, Шестов наделяет «подпольного человека» Достоевского статусом эталона человеческой подлинности. «Человек из подполья» противопоставляется абсурдному, бесчеловечному миру «всемства», миру обыденного существования, уподобляющегося насилующей Необходимости. В поисках выхода для «безумной свободы» человека Шестов приходит к выводу – «нужно искать Бога». Так, от абсурда необходимого Шестов ищет спасение в абсурде божественного.

### СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого// Собрание сочинений в 2 т. Т. 2. – М.: Мысль, 1990. – С.6-237.
2. Шестов Л. Апофеоз беспочвенности: опыт адогматического мышления// Философия трагедии. – М.: АСТ, Фолио, 2001. – С. 319-476.
3. Шестов Л. Достоевский и Ницше: философия трагедии// Философия трагедии. – М.: АСТ, Фолио, 2001. – С. 135-316.
4. Достоевский Ф.М. Записки из подполья// Полное собрание сочинений в 30 т. Т. 5. – Л.: Наука, 1973. – С. 99-179.
5. Ерофеев В.В. Мертвая проза Сартра// Лабиринт 2. – М.: Зебра Е, 2006. – С. 274-323.
6. Шестов Л. На весах Иова: странствования по душам. – М.: Издательство АСТ; Харьков: Фолио, 2001. – 463 с.
7. Ионеско Э. Наедине с одиночеством. – К.: Ника-Центр, 1998. – С. 7-196.
8. Курабцев В.Л. Миры свободы и чудес Льва Шестова: Жизнь мыслителя, «странствования по душам», философия. – М.: Российское гуманистическое общество, 2005. – С. 21-307.
9. Гараджа Е.В. Евангелие от Дон Кихота// О трагическом чувстве жизни. – К.: Символ, 1997. – С. 7-22.

© Мімалі Л. С.

10. Сартр Ж.-П. Герострат// Стена. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – С. 65-83.
11. Ерофеев В. Найти в человеке человека: Достоевский и экзистенциализм. – М.: Зебра Е, ЭКСМО, 2003. – 287 с.
12. Чоран Э. Признания и проклятия. – СПб.: Simposium, 2004. – 204 с.
13. Бердяев Н.А. Лев Шестов и Киркегор// Диалектика божественного и человеческого. – М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2005. – С. 590-597.
14. Камю А. Миф о Сизифе: эссе об абсурде// Бунтующий человек. – М.: Политиздат, 1990. – С. 24-92.
15. Ерофеев В. Остается одно: произвол (философия одиночества и литературно-эстетическое кредо Льва Шестова)// Лабиринт два. – М.: Зебра Е, ЭКСМО, 2002. – С. 110-171.

*Мімалі Л. С. – аспірант кафедри філософії та соціології Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університеті імені К. Д. Ушинського».*

**УДК: 122.1+125.6**

### ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ГЕНДЕРУ В ФІЛОСОФІЇ

*Статтю присвячено уточненню смислу категорії «гендер» в рамках соціально-філософського дискурсу. Проаналізовані основні теоретико-методологічні підходи до вивчення гендеру у сучасному соціогуманітарному знанні. Розглянуто теоретико-інформаційний потенціал поняття «гендер» в методологічному та епістемологічному аспектах.*

**Ключові слова:** гендер, гендерна ідентичність, множинність гендерів, стать, статева роль.

### ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ГЕНДЕРА В ФИЛОСОФИИ

*Статья посвящена уточнению смысла категории «гендер» в рамках социально-философского дискурса. Проанализированы основные теоретико-методологические подходы к изучению гендера в современном социогуманитарном знании. Рассмотрен теоретико-информационный потенциал понятия «гендер» в методологическом и эпистемологическом аспектах.*

**Ключевые слова:** гендер, гендерная идентичность, множественность гендеров, пол, половая роль.

### THEORETICAL AND METODOLOGICAL APPROACHES TO THE STUDY OF GENDER IN PHILOSOPHY

*The article is devoted to clarifying the meaning of the category "gender" in the framework of social and philosophical discourse. Analyzes the main theoretical and methodological approaches to the study of gender in the modern socio-humanitarian knowledge. We consider information-theoretic potential concept of "gender" in the methodology and the epistemological aspects.*

**Keywords:** gender, gender identity, the multiplicity of gender, sex, sexual role.

Глибинна трансформація суспільної свідомості, яка присуща сучасності, радикально змінила світоглядні уявлення, пов'язані зі способами соціалізації статі.

Актуалізація ролі статей у розвитку суспільства, їх символічному та семіотичному вираженні у філософії, соціології, психології відкриває нові аспекти розвитку соціуму, дає можливість ширше розглядати сутність трансформацій суспільних процесів. Теоретико-методологічні дослідження гендеру не тільки вивчають особливу область знання, а також намагаються сформулювати нові способи мислення. Нові гендерні підходи акцентують увагу, передусім, на соціокультурних домінантах, вплив яких визначає статус людини, форми його реалізації, здатність мобільно орієнтуватися в суспільстві, що постійно змінюється. Однією з найгостріших і найболючіших соціальних проблем сучасних суспільств, особливо пострадянських, є пошук цивілізованої й